

Вячеслав Кошелев

Об одной университетской лекции Гоголя

С сентября 1834 до конца 1835 г. Н.В. Гоголь служил в Петербургском университете, где читал лекции по всеобщей истории. По свидетельству некоторых из его слушателей, во второй половине октября 1834 г. одну из этих лекций посетили – по приглашению адъюнкт-профессора – его коллеги-литераторы А.С. Пушкин и В.А. Жуковский.

Как известно, Гоголь приобрел репутацию довольно слабого лектора, и про этот период его деятельности ходили анекдоты. Один из них касался как раз интересующего нас посещения. В.П. Гаевский в своих «Заметках для биографии Гоголя» сообщил: «Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать когда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться его приглашением, наконец, условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не явился» [1].

Н.И. Иваницкий, бывший свидетелем этого случая, опроверг свидетельство Гаевского: «Но вот однажды – это было в октябре – ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в какой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится ни с сего ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово “увлекательно”» [2].

То, что тема гоголевской лекции возникла для слушателей «ни с сего ни с другого», свидетельствует, что Гоголь читал, в качестве лекции, исторический очерк, приготовленный специально для Пушкина и Жуковского. Принято считать, что это очерк под названием «Ал-Мамун (Историческая характеристика)», который считается последним по времени создания произведением, вошедшим в «Арабески» (где он занял «сказовое» место в финале первого тома). Он остался рудиментом не написанного Гоголем «Трактата о правлении» (намеченного во втором плане «Арабесок») – некоего рассуждения о роли «национальных стихий» в жизни народов и государств.

О посещении Пушкиным и Жуковским гоголевской лекции вспоминал еще один очевидец – С.И. Барановский. Его воспоминания, написанные едва ли не через тридцать лет после заметки Иваницкого, содержат те же детали: «обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени»; Гоголь «прочел одну из лучших своих лекций». Правда, по версии Барановского, визит «знаменитостей» был «совершенно неожиданностью» для Гоголя и читал он не «взгляд на историю аравитян», а, напротив, «художественно охарактеризовал Норманнских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии...» [3]. Эта лекция не попала в «Арабески»: небольшое упоминание о норманнах в этом сборнике есть только в составе статьи «О средних веках».

Так какую же все-таки лекцию читал Гоголь в присутствии Пушкина и Жуковского? И почему это, весьма рядовое, событие приобрело в сознании современников столь «зыбкую» мифологию? По одной из версий – и лекции-то, в собственном смысле «не было», по другой – Гоголь, в нарушение логической последовательности лекционного курса, рассматривал эпизод из средневековой истории Востока, по третьей – «художественно охарактеризовал» любопытнейшую народность Западного мира... Да и зачем, собственно, Гоголю понадобилась эта «историческая» лекция, предназначенная для двух знаменитейших и уважаемых им литераторов?

На эту позднейшую мифологию, впрочем, наслоилось мифологизированное же представление о Гоголе-профессоре, заостренно отраженное, к примеру, в воспоминаниях И.С. Тургенева. Его преподавание, отмечал он, «происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, – он не говорил, а шептал что-

то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и всё время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории – и что г. *Гоголь-Яновский*, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки»» [4].

Представление о том, что Гоголь ничего не смыслил в истории, не соответствовало действительности [5], – а появление этого мифа объяснялось чрезвычайно яркой литературной репутацией, появившейся у Гоголя после «Вечеров...». «Пасичник Рудый Панько» не совмещался с амплуа университетского специалиста.

Такая же несовместимость двух гоголевских «обличий» отразилась и на восприятии сборника «Арабески». Известная отрицательная рецензия на этот сборник, написанная О.И. Сенковским, была посвящена, собственно, только развенчанию и отрицанию «ученых» статей Гоголя – и противопоставлению его «ученым» откровениям «шуточных» статей (из которых критик выделял «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего»). «Читая эти страницы, очень немногочисленные, но писанные слогом приятным, чистым и живым, – замечает Сенковский, – искренно сожалеешь, что автор «Арабесков» обманывает себя до того, что хочет провозглашать какие-то новые истины по части наук и художеств...» Критика в этом смысле особенно раздражают претензии Гоголя на разыскания в «бедной истории» – в этих-то разысканиях он как раз и видит настоящие «карикутуры» [6].

Дело, впрочем, не в известной «неприязни» Сенковского к Гоголю. В.Г. Белинский, относившийся к Гоголю-писателю более, чем «приязненно» и даже объявивший его «главой литературы, главой поэтов», тоже недоумевал, читая его «ученые» очерки, сопроводив свою большую статью «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) характерным заключительным примечанием, в котором высказался еще хлеще: «Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. <...> Если подобные этюды – ученость, то избави нас Бог от такой учености!» [7]

Самое интересное, что эта оценка Сенковского – Белинского стала в основе «бытовых», «массовых» представлений о Гоголе и в

последующее время. Как бы все последующие читатели ни оценивали «ученые» создания писателя, никто из них, собственно, не пытался их сопоставлять с его художественными созданиями. Эта традиция проникла и в издательскую практику, и в литературоведческие интерпретации: даже те исследователи, которые пишут об особенном значении циклизации у Гоголя, о том, что его «стремление к преодолению отдельности произведения было так сильно, что оно могло перехлестнуть и через границы художественного творчества» [8], – предпочитают всё же анализировать «Петербургские повести» отдельно от гоголевских петербургских же «ученых» очерков. Подобная установка вполне родственна язвительной реплике того же Сенковского, который, обнаружив, что Гоголь исключил из третьего тома сочинений «все высокопарно *ученые* статьи», не преминул сострить: «Сатириком еще можно притвориться, но ученым – никак нельзя» [9].

Между тем, как отметил еще С.А. Венгеров, Гоголь был ученым *особенным*, во многом противостоящим современным традициям. Он, «несомненно, вполне был подготовлен для серьезной исторической работы», но, «живя в эпоху преимущественного интереса к внешним факторам исторического процесса», представил в своих исторических изысканиях принципиально иной «интерес»: «В 1830-х гг. огромное большинство историков подходило к делу исключительно с внешней и анекдотической стороны. Походы, дипломатические переговоры, придворные интриги, личность государей и их приближенных – вот в чем видели тогда центральные проявления исторической жизни. Гоголя занимает совсем другое. Он в свои тетради, посвященные «материалам по средней истории», вписывает извлеченные из разных источников сведения о суевериях, о домашней жизни, «коммерции», положении и роли евреев, морской торговле, промышленности». В тех же «Арабесках» он продемонстрировал возможность изучения истории «со стороны таких явлений, как архитектура, живопись, быт, религия» [10].

Но еще важнее было то, что Гоголь изначально привык осмысливать любое историческое событие с точки зрения «мыслительного парадокса» – и, соответственно этому стремлению, искать в каждом историческом явлении скрытый *парадокс*. Вот он рассуждает о «средних веках» как целостном историческом явлении и тут же выстраивает историософскую концепцию. Согласно ей, «история средних веков менее всего может называться скучною», –

хотя никаких особенных приобретений для человечества эта эпоха не дала и события, волновавшие ее, могут показаться вполне однообразными. Между тем, именно в эту эпоху «совершилось всемирное преобразование»: «средние века» расположились между двумя «колоссальными событиями» истории. Но каким образом в это «темное» время могло совершиться такое колоссальное движение – от падения «полуязыческой» и «дряхлой» Римской империи до образования современного европейского просвещения? Обозревая основные этапы «средних веков» на Востоке и на Западе мира, Гоголь приходит к выводу, что причиной этого «небывалого скачка» послужило как раз то, что привычно оценивается с отрицательным знаком: «Сильный напор и усиленный гнет властей, казалось, были для того только, чтобы сильнее произвести всеобщий взрыв. Ум человека, задвинутый крепкою толщею, не мог иначе прорваться, как собравши все свои усилия, всего себя. И оттого-то, может быть, ни один век не представляет таких гигантских открытий, как XV-й...» Получается, что именно «отрицательные» данности средневековья: невежество, угнетение, междоусобицы, засилье схоластики, инквизиция и т.п. – явились факторами, которые стимулировали прогресс человечества!

Вывод – парадоксален. И в парадоксальности своей весьма логичен. Но тому же Сенковскому в рецензии на «Арабески» для того, чтобы «изобличить» Гоголя, потребовалось всего лишь перевести это заключение в привычную, «не парадоксальную» логику, даже не особенно изменяя внешней словесной оболочки высказывания: «Сильный напор и усиленный гнет властей прижал, извольте видеть, так сильно ум человеческий, задвинутый крепкою толщею, что этот несчастный ум вспыхнул так ужасно, что с отчаяния открыл порох, печать и Америку!» Логика гоголевского парадокса в этом «пересказе» оборачивалась некоей насмешкой над «познаниями русских читателей 1835 года» [11].

Но эта же логика парадокса становилась конструктивной и для знаменитых художественных текстов, вошедших в «Арабески». Главный из этих текстов – повесть «Невский проспект» – Пушкин охарактеризовал как «самое *полное* из его (Гоголя – В.К.) произведений» [12]. «Полнота» эта определяется опять-таки исходным парадоксом: «улица-красавица нашей столицы» – и «лжет во всякое время»; «о, не верьте этому Невскому проспекту!». Тут же представлены два частных случая этой «обманчивости» – и вы-

вод: «Дивно устроен свет наш!.. Всё происходит наоборот». Именно эта «наоборотная» логика создает впечатление «полноты» изображения в небольшой повести.

Социальный смысл этой логики вполне понятен и давно раскрыт в литературоведческих анализах: «*Все происходит наоборот* в этом обществе, и потому Гоголь так и воплощает сущность этого общества – и у него нормальные безумны, а сумасшедший богат душевными силами; носы блаженствуют, окруженные почетом и богатством, а человек опозорен и унижен; искусство становится подлым ремеслом, а ремесло приносит славу и уважение; пошлость блаженствует, а благородство гибнет в муках (это и есть тема «Невского проспекта»), и всё прекрасное, благородное гибнет, и все почему-то считают это естественным» [13].

Подобная «наоборотная» логика, сочувственно принимавшаяся в художественных текстах, выглядела вызывающе в текстах исторических – которые, в сущности, развивали ту же излюбленную гоголевскую идею о «неразумности» окружающего мира. Более того: обращаясь к истории, Гоголь стремился уяснить истоки этой «неразумности». История, между тем, привыкла оперировать рациональными категориями просветителей – и, с традиционной точки зрения, исторические рассуждения Гоголя действительно должны были казаться «дикими».

Позднее, в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. Белинский просил у автора «Арабесок» прощения за то, что «изрыгнул хулу» на его «статьи ученого содержания». И объяснил своё непонимание содержанием самих ученых статей: «Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки...» [14]. Видимая *простота* исторических гоголевских этюдов определялась общим замыслом создания «универсального» учебного курса по всеобщей истории, которая «должна обнять вдруг и в полной картине всё человечество, каким образом оно из своего первоначального бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконец, достигло нынешней эпохи». Те исторические факты, которые должны были рассматриваться в таком курсе, должны были быть тщательно отобраны по принципу их значительности: «Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда». Словом, как свидетельствовал слушатель гоголевских лекций В.В. Григорьев, Гоголь был убежден, что «призван к преподаванию *судеб человечества*» [15].

В состав «Арабесок» входят пять исторических «ученых статей» Гоголя. Хронологически первая из них – «О преподавании всеобщей истории» – содержит общую концепцию и план будущего курса. Статья «Шлецер, Миллер и Гердер» – это, собственно, историографический этюд о трех наиболее известных представителях возникшей в XVIII веке новой науки – всеобщей истории. Только три статьи непосредственно отражают содержание того курса, который Гоголь читал в университете: «О средних веках» (вступительная лекция, объясняющая значение читаемого курса), «О движении народов в конце V века» (собственно, очерк о происхождении европейской цивилизации) и «Ал-Мамун».

Последняя – *единственная* статья, посвященная не общим «историософским» проблемам, рассматриваемым на общеизвестных примерах, а некоему частному эпизоду исторической жизни конкретного (арабского) народа, приуроченному к локализованному времени – к началу IX века. При этом очерк вполне соответствует заявленному в подзаголовке жанру *исторической характеристики*. Правда, персонаж этой «исторической характеристики», багдадский халиф Ал-Мамун (Аль-Маммун, 786–833) как будто не вполне соответствует заявленному историком принципу отражать только те «происшествия», которые произвели «влияние на мир». Исторический Ал-Мамун, сын и наследник знаменитого Гаруна аль-Рашида, известен в истории арабов как просвещенный халиф, покровительствовавший наукам, основатель знаменитой багдадской обсерватории, по приказанию которого были переведены на арабский язык сочинения греческих ученых. Более никаких следов его 25-летнего правления в истории не оставило и «влияния на мир» не произвело.

Этой статье Гоголя из «Арабесок» посвящена обстоятельная и содержательная работа А.Б. Куделина, в которой лекция писателя предстает неким политологическим сочинением, во многом предваряющим концепцию «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «...некоторые принципиальные взгляды, получившие основательную разработку в “Выбранных местах”, в существенной мере созрели у Гоголя уже к осени 1834 г.» [16]. В этой же работе высказано чрезвычайно интересное наблюдение. Сопоставляя гоголевский очерк с его основным источником – «Восточной библиотекой» Гербелотта д’Эрбело – исследователь отметил, что сведения этого источника представлены Гоголем очень избирательно: в со-

ем очерке-лекции Гоголь «пропустил» целый ряд значимых фактов биографии своего персонажа – те, которые не укладывались в «идею превращения “государства политического” в “государство муз”, приписанную им ал-Мамуну» [17].

Нас в данном случае интересует не столько собственно политический смысл гоголевского этюда (он детально рассмотрен в упомянутой работе), сколько тот «историософско-поэтический» способ изложения материала «экзотической» истории мусульманского Востока, который неожиданно принят в этой лекции, произнесенной автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в присутствии двух знаменитых писателей.

Прежде всего, Гоголь откровенно мифологизирует «историческую характеристику» своего героя-халифа – и в финале, обобщая «поучительный урок», данный его царствованием, приходит к открытому *парадоксу*: «Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам был, между прочим, неволью одною из самых главных пружин, ускоривших падение государства». А весь очерк посвятил обоснованию того, каким образом «кротость сердца», «самоотвержение» и «страсть к наукам» сыграли столь пагубную роль в историческом развитии Арабского халифата.

Начинает Гоголь свою «историческую характеристику» фразой в духе сказок Шахерезады: «Ни один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего государства, как Ал-Мамун». Установка на *сказку* в данном случае сознательна: на первой же странице характеризуется герой «Тысячи и одной ночи» «необыкновенный Гарун», идеальный правитель, умевший «ровно разлить свои действия на всё и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою». Выводится даже «переодетый калиф» – в той позе, в которой он представлен в сказках». От *сказки* идет и представление об идеальном монархе: действительный Гарун аль-Рашид не очень был похож на правителя, гуляющего ночью по Багдаду с целью разузнать, что делается в его державе.

Герой очерка Ал-Мамун – персонаж, тоже наделенный ореолом «идеальности»: «великодушный покровитель наук», «благодетель человеческого рода, который замыслил государство политическое превратить в государство муз». Он окружил себя «учеными пришельцами», назначил их на «правительственные места» и начал вводить просвещение, стремясь достигнуть «дотоле невиданного совер-

шенства нации». И далее Гоголь предлагает важнейший тезис, предшествовавший тезисам славянофилов: «Он упустил из вида великую истину: что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий».

Поэтому результат просветительской деятельности вышел вовсе не тот, что ожидался правителем. Те «начала политеизма», которые привносил мир античности, «представляли совершенный контраст пламенной природе араба» и вызывали у него неприятие и отторжение. В конце концов, правитель оказался отделенным от собственной страны пребыванием «в государстве муз, им же самим созданным». Страна его разрушалась: Ал-Мамун «уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки». Когда же он решился «усовершенствовать» Коран, то обнаружил «жестокое упорство» своих подданных, – и вместо их «благодетеля» сделался их же «гонителем». Наконец, «он произвел религиозный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы в недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, <...> который произвел множество ослепленных сект...» Так он и «умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом».

«Историческая характеристика» Ал-Мамуна по существу называется *историческою притчей*, раскрывающей специфику государственного «правления». Она могла бы быть экстраполирована на любой народ – и на любую историческую эпоху, вплоть до современной России. Но Гоголь воздерживается от подобной «экстраполяции», предпочитая в данном случае рассуждать о правлении «идеальном».

Центральную часть очерка составляет рассуждение о соотношении государственной власти и «философов и поэтов»: «*Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления...*» Из этой «толпы», однако, «исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они – великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в

важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца».

Если мы примем версию Иваницкого о том, что Гоголь прочел «слово в слово» именно тот текст, который появился в «Арабесках», то в данном случае должны будем констатировать весьма неуклюжую лесть. И даже намек на то, что присутствующие «великие поэты», «которые соединяют в себе и поэта, и философа, и историка», в отличие, например, от их непосредственного предшественника Н.М. Карамзина (тоже соединявшего в своем творчестве все эти ипостаси), не очень-то привлечены у трона...

«Вряд ли Гоголь намекал на Жуковского и Пушкина или вообще на кого-либо из русских писателей, – замечает по этому поводу Ю.В. Манн. – Это был искомый идеал, подобный составленному в воображении Гоголя образу истинного историка. Но идеал, к которому надо стремиться, о котором явно или тайно думал он сам. Не заронила ли уже в это время в сознание Гоголя мечта о таком произведении, которое, будучи отмеченным высшим знанием «природы и человека», «минувшего» и «будущего», окажет соотечественникам такую пользу, что превзойдет подвиг любого самого мудрого государственного деятеля?» [18].

Это суждение, построенное по принципу «или – или», не кажется абсолютным. Гоголь вполне мог «совместить» собственную «мечту» с неким «текущим» намеком – и именно поэтому предназначить свою лекцию не только студентам, но и двум «великим жрецам». Вряд ли, однако, текст, вошедший в «Арабески», «слово в слово» повторял эту лекцию: очерк «Ал-Мамун» явно мал для академического чтения. Возможно, Гоголь совместил свои наблюдения, во многом основанные на его «фантазии» и апелляции к «сказке», с какими-либо аналогичными примерами – хотя бы из истории тех же «норманнских витязей». Именно это совмещение и могло сделать лекцию «увлекательной» – это слово запомнилось Иваницкому из оценки лекции Пушкиным.

Наконец, для эволюции Гоголя важно, что в тексте его «исторической характеристики» заявлен именно *славянофильский идеал просвещения*, основанного на национальных «корнях». Гоголь отнюдь не первым ставил проблему таким образом: еще Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811) обрушился на Петра Великого, стремившегося к «новому величию России» путем «совершенного присвоения обычаев европейских», с подобными претен-

зиями: «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости» [19]. И даже апелляция Гоголя-историка к средневековой Аравии не оказалась чуждой позднейшим славянофильским исканиям: 10 лет спустя, в 1845 г. А.С. Хомяков опубликовал в популярном детском журнале статью «Черты из жизни калифов», основанную на «соседнем» историческом материале (правление Омара I и Омара II), построенном как «исторические характеристики, и посвященную пропаганде сходных идей» [20].

Нам уже приходилось писать о многочисленных связях, возникших в 1840-1850-е годы между Хомяковым и Гоголем [21]. В данном случае эта связь несомненна: Хомяков в своей статье подражал именно гоголевскому «Ал-Мамуну». Подражал во всем: и в тематике, и в «педагогической» направленности своих рассуждений, и в прямом следовании жанру «исторической характеристики». А главное – в провозглашении открытого *парадокса* как способа организации мысли. Эта статья представляет собою «облегченный» вариант рассуждений Хомякова об «ислализме», которые были представлены в его «Семирамиде» («Записках о всемирной истории»). Учение Магомета Хомяков рассматривал как «произвольную реформу» начальной стихии «иранства» – и отсюда проистекал показательный парадокс: «... в Мугаммеде добро и зло одинаково служили к успеху, потому что были одинаково связаны с характером народа, на который он действовал» [22]. Те калифы, жизнеописанию которых посвящен очерк Хомякова, оказывались даже нравственно выше самого пророка. Именно это явление занимает автора – и он, как в нашем случае Гоголь, строит свое занимательное повествование, основываясь на нетрадиционной историософской проблеме, которая тут же и решается.

Гоголь в своих университетских лекциях (сколько можно судить по одной, самой «заметной» из них) уже в середине 1830-х годов «парадоксальным» способом пытался ставить именно те «парадоксальные» проблемы, какие будут волновать русскую общественную мысль (а далеко не только самого Гоголя!) десятилетия спустя.

Примечания:

1. *Г – ский В.* Заметки для биографии Гоголя // Современник. – 1852. – Т. 35. – № 10. – Смесь. – С. 145.

2. *Иваницкий Н.И.* Выправка некоторых биографических известий о Гоголе // Отечественные записки. – 1853. – Т. 86. – № 2. – Смесь. – С. 119-121.
3. *Барановский С.И.* [Письмо к Я.К. Гроту от 9 июля 1880] // Русский архив. – 1906. – № 6. – С. 278.
4. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми тт. – Соч. Т. XIV. – М.-Л., 1967. – С. 75-76.
5. См.: *Мордовченко Н.И.* Гоголь в Петербургском университете // Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та. Серия филол. наук. – 1939. – Вып. 3. – № 46. – С. 355-359; *Айзеншток И.Я.* Н.В. Гоголь и Петербургский университет // Вестник Ленинградского университета. – 1952. – № 3. – С. 17-38.
6. *Сенковский О.И.* Собр. соч. – СПб., 1859. – Т. IX. – С. 350.
7. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. – Т. I. – М.-Л., 1949. – С. 323.
8. *Гуковский Г.А.* Реализм Гоголя. – М.-Л., 1959. – С. 26.
9. *Сенковский О.И.* Собр. соч. – Т. IX. – С. 412.
10. *Венгеров С.А.* Писатель-гражданин. // Гоголь. Собр. соч. – Т. II. – СПб., 1913. – С. 152-154.
11. *Сенковский О.И.* Собр. соч. – Т. IX. – С. 347.
12. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. – Т. XII. – АН СССР, 1949. – С. 27.
13. *Гуковский Г.А.* Реализм Гоголя. – С. 335-336.
14. Переписка Н.В. Гоголя. – М., 1988. – Т. 2. – С. 264.
15. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. – Кн. 4. – СПб., 1891. – С. 144. Курсив источника.
16. *Куделин А.Б.* К характеристике исторических взглядов Гоголя: от «Арабесок» к «Выбранным местам из переписки с друзьями» // Контекст-1993. – М., 1996. – С. 312.
17. Там же. – С. 304.
18. *Манн Ю.* «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н.В. Гоголя. 1809-1835. – М., 1994. – С. 398.
19. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России... – М., 1991. – С. 31-32.
20. Библиотека для воспитания. – 1846. – Отд.2. – Ч.1. – С.133-146.
21. См.: *Кошелев В.А.* Хомяков и Гоголь // А.С. Хомяков: Личность – творчество – наследие. Хмелитский сборник. Вып. 7. – Смоленск, 2004. – С. 233-256.
22. *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч. – М., 1900. – Т. VII. – С. 129.